

ЯЗЫЧНИЦА

Скакали день и ночь, отдыхали в проезжей избе, а утром снова в путь, и в тех местах, как и в первый раз, очутился Юрий под вечер, когда уже солнце, освещающая край неба лимонно-желтым светом, готовилось вот-вот опуститься за черный частокол елей на большом холме. Вокруг стояла ненарушимая тишина. Лес и река словно замерли. Лишь где-то от Красных сел боярина Кучки слышно было, не поймешь далеко или близко, музыкант играл на струне, по прозрачному воздуху, по-над серой гладью, песня свободно неслась.

Но вот три всадника, во весь опор выехав из лесу, остановились у рва, окружавшего боярский двор и дом. Юрий слез с коня, ни слова ни говоря, бросил повод Афоне и, отпихнув ногой плачуща Петра, перешел через мостик, во двор прошел, никем не узнан, и дальше в дом, где в первой же горнице увидел своего тысяцкого у стола сидяща, положив голову на руки. Вот голову поднял и дико воззрился на вошедшего. А князь, все так же ни слова не говоря и тому не дав вымолвить, внезапно размахнувшись, с силой ударил своего вассала по голове, как пришлось, бронзовым топориком, висевшим у него на сгибе локтя, с каким хаживал на зверя.

Мимо дверей в ту пору случайно проходил челядин, видевший, как, всхрипнув и руками взмахнув, неловко со стула сполз боярин, и глаза прежде, нежели ум, ему сказали, что хозяин мертв!

Но еще прежде, чем вбежала Улита, и дом наполнился звуками торопливых шагов, хлопанием дверей, приглушенными вскрикиваниями, еще несколько растянувшихся мгновений стояла ненарушимая тишина.

Словно ничего не произошло. По двору снова нерасторопная челядь. Солнце наполовину ушло за верхушки елей. И только трое знали о происшедшей непоправимой перемене: боярин Кучко, который, впрочем, уже ничего не знал, ибо был мертв; князь-убийца; и замерший в дверях в ужасе с замершим криком на губах челядин.

Князь в тот день никуда не уехал, остался ночевать в доме убитого боярина. Ночь провел с Кучковой вдовой. А утром, рано восстав от сна, ушел на вершину большого холма, где городища старого, полуразрушенного, виднелись останки, и там бродил, и мысли и мечты его, как бы обретая свободу, побежали по иному руслу.

В самом ли деле его душа накрепко привязалась к этому прекрасному месту, в память ли об убитом боярине, на земле его и на крови его задумал тотчас же строить город-крепостцу у слияния двух рек на большом холме, и имя тому городу уже разом пришло ему на ум, стало быть, затее удасться. И, намерениями теми захвачен, быстрым шагом обратно в усадьбу идет, и вот уже по двору похаживает, на всех покрикивает:

– Эй вы, лодыри да бездельники, а ну-ка позвать ко мне Петра! Чтой-то я его давно не видел! Нигде нету?! Как так нету?! Сыскать сей час да привести ко мне!

– Афоня! Ты, милый, скачи-ка в Чернигов. К нашему свату и дорогому брату Святославу Ольговичу. Зови его на пир. Он это любит. Скажи ему так: **«Приезжай, дескать, ко мне, свате, в Москов!»**

– А ты, эй, как тебя?.. Скачи с тем же в Галич к свату моему Владимирко. Тоже и он пусть едет. Скажешь, что на свадьбу сына моего Андрея. Да. Всё понял? Ну, гляди.

– Таперича, брат, ты... Ан нет, чтой-то ты с виду больно дурак. Скачи-ка лучше ты тогда в Чернигов. А, Афоня, ты, езжай в Суздаль. Прямо сейчас... али лучше к вечеру. А то можно и завтра рано поутру. Андрею скажешь: бороду пусть расчешет, рубаху шелкову наденет и едет пусть ко мне по моему отцовскому приказу. Да. Про свадьбу-то покамест ничего ему не говори. Уразумел? Ну, давай! Да где же Петр?!

Задумал разом два дела свершить. Город выстроить на этом самом месте и выполнить данное им Кучковой боярине обещание выдать ее дочь Улиту за княжича, хотя ли вину тем перед ними искупить. Так горе и радость, свадьба и поминки, любовь и смертный грех убийства, пролитая кровь и душевный порыв

слились в одно, связавшись неразрывным узлом, словно одно без другого и быть не могло. И от этого потом всё пошло.

(...) Днем шел дождь. А к вечеру прояснилось. Светились, проплывая по небу, оранжевым светом облака. Сочно зеленела омытая дождем трава. Плескалась рыба в заводи. Кусали комары. Прохладой потянуло от реки. Запахло дымом. Это на дворе Кучко раздували самовар.

Думал ли тогда Юрий, глядя на работу, как одни пни корчуют, другие таскают песок, а третьи роют широкий и глубокий ров, – что из многих заложенных им в Белой Руси городов, именно эта крепостца, Москва, оставит имя его, Юрия, в веках?

Конечно, нет. Вовсе ничего такого он не думал. И даже вряд ли ошибемся, предположив, что мысли его сейчас были далеко отсюда. Вот еще раз рассеянно воззрясь на дочерна загорелую, потную спину ближнего из копавших, высокого, черноволосого мужика, сплюнув пыль и отшвырнув ногой подале от ямы каменистый комок земли, князь зашагал вниз, к реке. И, когда мало его уже видно стало за деревьями, от двора Кучко тихо растворилось окно, и в нем забелев, женское лицо глядело долго в сторону ту, куда ушел Дюрги.

ДЕРЕВНЯ (СЛЕД ПАЛАША)

Следующее за первым, ненастным, лето выдалось жарким. Софья Павловна, зайдя за какой-то мелочью в контору знойным июльским днем, говорила строгой бухгалтерше Тамаре вдохновенно: «Вы живете в раю!» – на что та возражала, окая: «Поживи здесь зиму, так завоюешь».

Софья в этом году приехала в Рожково, открыла сезон, довольно ранней весной, в конце апреля, когда очистившаяся от снега земля на полях за речкой, уходящих к лесу, была еще голо-коричневая и сухая, с белесо-голубого неба пригревало солнышко, и особый, деревенский, пьянящий, прохладный аромат разлит был в воздухе. Она прижмурилась и вдохнула всей грудью: как хорошо-то, Господи!

Отомкнула проржавевший висячий замок. Прошла через длинные сени с проваливающимися досками, открыла тяжелую дверь с рваной обивкой, вошла в свое жилье. «Войдете и будете жить». А что? Жилье было вполне сносным. Печка, кухонька маленькая, кровать в нише. Ну, убрать грудю осколков на полу от выбитого стекла, заткнуть дыры внизу, в стене, пропитав скипидаром, чтобы не лезли мышки.

Выглянула в окно. Кусты сирени в палисаднике. Вот и исполнилась ее мечта. Сирень под окном. А через дорожку от палисадника – огород; как здесь говорят: усадьба. В конце огорода, на задах – два высоких, раскидистых черемуховых дерева. Ах, она и не видела никогда таких черемух! И это теперь всё – ее. А пройти немного по тропинке вдоль усадеб до шоссе, там Надькин магазин и Лизина бывшая почта. Благолепие!

Вышла на огород. Заборчик сгнил, калитки нет. На задах вообще открыто.

– Забор надо починить, - наставительно поучала из-за изгороди соседка Настасья, толстенная, широченная бабища. – А то ходят все через твой огород траву косить на планах.

– Да, конечно, Настасья Семенна.

– Сажать-то будешь?

– А как же! Обязательно! – оглянувшись на запущенные грядки в крупных комьях земли

– Тракториста пригласить надо, тут лопатой не возьмешь, надо трактором. Дашь бутылку, он тебе вспашет.

Софья послушно кивала. Да, да, конечно, как же без бутылки.

– А черемухи эти надо срубить.

– Зачем?!

– Они уже старые. Больные. Это у тебя серебряный крестик? Привези мне такой.

(...) Тихонько в избу вошла и остановилась у печи, невысокая, в хламидке, из-под которой вылезали обвисшие спортивные штаны, не по-деревенски тоненькая, даже, может быть, если б не хламида, могла бы показаться изящной, с курносый носиком и уродливо вылезавшей из-под верхней губы кривой челюстью, по какой причине звали женщину эту в деревне: Косотычка или еще Косорыловка. Откровенно воровато шныряя направо и налево зеленоватыми глазками, прошепелявила, объясняя свой приход:

– Я раньше в этой избе жила. Печку мой Генка ложил. Она хорошо греет, ты ее растопи. Генка забор тебе сделает. Крышу в сарае починить надо.

В крыше просторного сарая зияли громаднейшие дыры из-за порванного толя.

– Рубероид тебе привезем, – менее уверенно. – Это у тебя юбка? Дай мне. Дай три рубля на буханочку. Сигаретки у тебя есть? Генке курить охота.

– У меня только Беломор, – вежливо сказала Софья Павловна неожиданной гостье.

– Давай, – зажав в ладошке трешку и пачку, смылась.

Маньку-косотычку вся деревня знала, как врушку и воровку.

– Гони ты ее, гони! – говорила Настасья. – Скажи: «Пошла! Пошла!»

(...) Генка, мужик Косотычки, действительно был мастер. Он мог соорудить заборчик и с калиточкой за то время, что Софья ездила на рынок в Кашин утром и возвращалась вместе с другими рожковскими на двенадцатичасовом автобусе, а он, широко улыбаясь около ее дома стоял, протягивая руку в сторону нового сооружения. Жердочки были, правда, неровные, выдернутые откуда-то из старья, но заборчик стоял, и калиточка на крючке, и бутылка переходила к Генке за пазуху. Пил мужик крепко. Манька уже с утра в компании одного-двух забулдыг бегала по улице разжиться к обеду на бутылку.

У них с Генкой еще была, хотя далеко не постоянная, а, напротив, от раза к разу, работенка.

– Мы говно возим, объясняла. – Почистить туалет, тридцать рублей и бутылка, – и повторила для верности. – Тридцать рублей и бутылка!

ГРАФИНЯ ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА ШЕРЕМЕТЕВА

В первую зиму нашей совместной жизни с женою моею, урожденной Екатериной Павловной Вяземской, мы поселились в нашем Фонтанном доме в Санкт-Петербурге. Надобно сказать, что изо всех родовых имений графов Шереметевых именно этот дом неизменно вызывал во мне особенные чувства из-за столь дорогих моему сердцу, витающих в его уголках воспоминаний. Живо мне представлялось былое, когда в отроческих летах я бродил по его залам и коридорчикам, там прошла часть детства моего, – разглядывая портреты в потемневших золоченых рамах, вдыхая ни с чем не сравнимый запах старины.

Там в саду был и сейчас еще стоит полуразрушенный домик, нечто в роде и кусковского «Дома уединений» графа Петра Борисовича, прадеда моего, или домика самой графини бабушки Прасковии Ивановны, где теперь растут серебристые тополи. Там же, едва оправившись от тяжелой болезни, едва не уведшей ее в могилу, графиня посадила клен и вербы. Помню, в том саду памятник еще стоял с надписью:

«Здесь семейно провождали время в тишине спокойствии».

(...) Мой дед был личностью несомненно оригинальной. Блестящий сенатор и обер-камергер Ея Императорского Величества, он был одним из богатейших людей времен царствования Великия Екатерины, «Крез меньшей», как его звали при дворе, переведа это прозвище с его отца графа Петра Борисовича, которого, стало быть, почитали «Крезом старшим». Тем не менее, дед вел жизнь довольно уединенную, если не сказать отшельническую, не участвовал в дворцовых делах и интригах, будучи в имении своем Кускове, а после Останкове, полностью погружен в свои занятия.

Самой же главной его страстью, несомненно, был театр! Его устройству он отдавал большую часть своего досуга, переняв это увлечение от своего отца, который тоже

немало сделал для организации усадебного театра в Кускове, куда не раз в гости к нему навевалась сама императрица.

(...) Женился же он на графине бабушке уже за сорок, хотя еще задолго до их венчания, когда бабушка еще выступала на кусковской сцене, и вся Москва съезжалась послушать ее пение, домашний склад моего деда вполне определился, и **«путеводная звезда уже давно озаряла его одинокую жизнь».**

Тайное венчание. ...Первым делом оглянемся вокруг. Однако что за оказия? Мы стоим в центре самого что ни на есть современного города, на просторной и оживленной улице с потоками автомобилей, коробками небоскребов и сверкающими витринами. Ну да, это – Новый Арбат в его современной величии. Вот и Дом Книги, а наверху, на зеленом пригорке, церковка с пятью главками, увенчанными золотыми крестами... А теперь попробуем, призвав на помощь воображение, убрать весь этот антураж, стекло и бетон, фонари и рекламы, потоки автомобилей. И сразу станет безлюдно и темно в промозглый вечер поздней осени с дождем и снегом и холодным пронизывающим ветром. Темно, пусто, лишь кое-где по сторонам от размытой, расхлябанной дороги мигают редкие, слабые огоньки из разбросанных неподалеку от столицы приусадебных деревенок, да церковка эта на пригорке смутно белеется за завесой дождя. Но вот сквозь шелест струй, непрерывный и унылый, едва различим становится слабый шум словно от множества разговоров, доносятся взрывы смеха и даже обрывки пения, шум всё ближе, слышен уже скрип колес, чавканье грязи. И вот из мрака проступают очертания двух... нет, даже трех карет, медленно продвигающихся по размытым, глубоким колеям.

Вот возница первой кареты прикрикнул на лошадок и натянул вожжи, сворачивая с широкой дороги на узенькую тропку, ведущую на пригорок, где светятся узкие оконца той самой церковки. Там уже, оказывается, ждут гостей, у входа в церковь небольшая суэта, служки со свечами в раскидистых подсвечниках, вот и батюшка в золоченой парадной ризе, всплескивая руками, устремляется навстречу едущим. Одна за другой кареты останавливаются, открываются дверцы. Из первой выходят четверо мужчин в длинных плащах и шляпах, останавливаются в ожидании; происходит некоторая заминка; наконец, открывается одна из дверей второй кареты. Из нее выпархивает легко, словно Сильфида, в шубке, едва накинутой на плеча, и в голубом газовом шарфе на высоко взбитых золотых волосах и, обежав спереди карету в атласных туфельках, помогает выйти другой. Лицо той не видно за краями мехового капора, оно опущено. Это и есть невеста, судя по подвенечному кружевному платью, вылезавшему из-под дорогой собольей шубы, в которую вышедшая кутается зябко и, не обращая внимания на окружающее, словно в забытии или в крайней растерянности чувств, склоняясь головой к спутнице, шепчет:

– Знаешь, что я сейчас подумала, Таня? В моей жизни не было никогда веселых праздников; всё лучшее случалось в такие вот неласковые вечера, ноябри, февраль...

СЕЯТЕЛИ И ПРОРОКИ НА ЗЕМЛЕ ОБЕТОВАННОЙ

Париж, июнь 1895 года.

"Что ж, господа, мы вас избавим от самих себя! Мы уедем. Куда? Ну, на первых порах, быть может, это не столь уж и важно... Главное – это создание реального убежища для евреев пусть хоть на клочке земли, но чтобы это была наша земля, наш дом, где мы смогли бы спокойно проживать, никому не мешая, и достойно, да, достойно, – «со своими крючковатыми еврейскими носами!» Государство евреев! Гениально, просто, невероятно и осуществимо! **И может быть, мир тогда, наконец, успокоится на наш счет, когда ненавистные всем евреям уедут! Мы в начале пути! В самом начале. Сознание отказывается оценить всю меру предстоящей деятельности.**

Итак, Государство евреев! Звучит действительно почти невероятно! Но существовали же в древности и испытывали периоды расцвета государства Давида и Соломона и их потомков..."

(...) **«Сначала отправятся отчаявшиеся».** Они должны будут подготовить условия жизни для тех, кто приедет за ними: средний класс; интеллигенция, ученые, учителя, врачи. Вначале поедут чернорабочие – из России, Румынии. Им выпадет самая тяжелая, «грязная» работа. Таков был план. Строительство городов, зданий; осушка болот, – продумано все, вплоть до помещений для рабочих, семичасового рабочего дня и флага нового государства – на белом фоне семь золотых звезд! Труд обязателен для всех граждан в государстве, это главное. Планирование экономического развития. Частный и обобществленный секторы. Строительство гидротехнических сооружений, гидроэлектростанций! Школы, университеты, больницы, театры!

Наш девиз: «Человек, ты брат мой!»

(...) Да, идея возвращения рождалась отнюдь не только в умах политиков. Процесс шел снизу, стихийно, неудержимо. Начиналась эпоха: **«Кум вэ асэ» – «Встань и действуй!».**

И уже шли пешком через пустыню, как некогда во времена Моисеевы, евреи Йемена, из потерянного колена, на историческую родину. Некоторые ученые считают, что йеменцы – это особая раса, происхождение которой является загадкой древности. И еще – что это наиболее одаренная ветвь еврейского народа, со способностями к музыке, большими задатками к развитию мышления. Ни много, ни мало, но есть сведения, что путешествие это, полное утрат и лишений, заняло двадцать шесть лет! Они вышли из Йемена богатыми людьми, с караваном из двадцати верблюдов, которые везли мешки с кофе. Среди них были ткачи и портные, каменщики и плотники, все эти ремесла были презираемы арабами. Они несли с собой украшения из золота и серебра. И прибыли в Палестину, не раз по пути подвергшись нападениям разбойников, ограбленные, но выжившие, – всего лишь с двумя ящиками, в одном из которых была рухлядь, а в другом – священные книги.

И уже приплыл к берегам Эрец-Исраэль на паруснике из Алжира с многочисленной семьей Авраам Шлуш. Беда ожидала их, увы, уже по прибытии. Когда близ Яффо переправляли людей и поклажу на лодках, то случилось несчастье, одна из лодок перевернулась, и в волнах погубило восемнадцать человек! Среди них было двое детей, Йосеф и Элияху. Много лет спустя внук Авраама Шлуша по имени Йосеф Элияху станет одним из основателей прекрасного города среди песчаных дюн у моря. Это Тель-Авив, город весны.

Больше всего приезжало переселенцев из России и Румынии. Усилилось это движение особенно после прокатившихся по югу России погромов. Именно тогда, в преддверии первой алии, студенты Харьковского университета организовали движение: **БИЛУ**, по начальным буквам воззвания на иврите:

«Бейт Яаков леха у нилеха!»: **«Дом Яакова, мы пускаемся в путь!»**

(...) И вот к Моисею пришла Смерть. И задрожала земля, и закачались столпы небесные, ибо энергия и сила этого человека были огромны, и он сам об этом знал и говорил так: «Во мне силы больше, чем во всем мире»!

Может быть, он не верил в *свою собственную* смерть? Во всяком случае, Моисей, совершенно не был к ней готов; он не был готов к встрече лицом к лицу с Творцом, с которым беседовал запросто по нескольку раз на дню.

Вот как он встретил известие и воспринял зарок Божий:

«Ты через Иордан не перейдешь!»

– возроптал и сетовал и просил Всемогущего отменить, хотя бы отложить исполнение приговора, говоря так: «... сколько труда я положил и сколько скорби испытал!» И еще так: «Это ли плата мне за сорокалетнюю работу?!» Так ли велики были грехи и вины его, что нога его не могла ступить в Землю Обетованную?! Справедливо ли это?!

И стоял на высокой горе у порога этой земли, земли праотцев Авраама, Ицхака, Иакова, и не было никого рядом, и приоткрылась бездна его души, как огнедышащая

гора Синай с ослабевающим внутренним огнем, ведь он все-таки был простой смертный. И перед ним расстилалась эта желанная земля, и он спрашивал себя» «Неужели это сотворил **я, я один?!**»

Долго противился в мыслях и молитвах неизбежному, и день и ночь недвижим сидел в одиночестве на горе, и никто не смел тревожить патриарха.

А потом вышел к людям новый Моисей, которого они не знали, смиренный, смирившийся, с непокрытой головой и грустью в очах и, поклонившись на все четыре стороны, обратился к ним, говоря так:

«Израильтяне! Много огорчал я вас законами и постановлениями и ныне прошу – простите меня! Прошу вас только, когда войдете в Землю Обетованную, – он сглотнул комок, застрявший в горле, но не смог удержать одинокую слезу, которая сползла через щеку до самого подбородка, – поминайте меня, поминайте кости мои, говорите: «Горе бен-Амраму! Горе тому, кто подобно коню мчался впереди нас, а кости его остались лежать в пустыне!»

И люди отвечали ему, плача:

– Учитель и господин наш, мы прощаем тебя!

И сложил руки на груди и еще сказал:

– Смотрите! Вот конец созданного из плоти и крови!

На горе Нево в земле Моавитской, против Бет-Пэора, место погребения его, но никто, ни один смертный не нашел этого места до сегодняшнего дня.

Когда стоят на горе, то могила видна в долине, а когда сойдут в долину, то могила видна на горе...